

Александр Красницкий
(А. И. Лавров)
ОБЕРЕГАТЕЛЬ

I
ГРОЗНЫЙ АТАМАН

Вокруг большого и глубокого оврага, в стороне от большой проезжей дороги, пахло преступлением. Над кручами носилась стая воронья, пред пологим спуском была помята трава, поломан кустарник, как будто здесь только что была окончена отчаянная борьба. В ложбине оврага трава тоже была обмята и в воздухе носился запах свежей крови. И в самом деле, несколько в стороне виден был свеженасыпанный бугор, под которым, вероятно, была уложена на вечный покой жертва только что совершенного кровавого преступления.

То время было смутное. На московском престоле сидели малолетние цари Иван да Петр Алексеевичи, а за их малолетством всеми государевыми делами правила их сестра, царевна Софья Алексеевна. Она была умной, способной правительницей, замечательно искусным политиком, но под нею все-таки не было той почвы, какая нужна для успеха государевых дел: не было законности власти. Последняя была захвачена ею с

помощью стремившихся к своеволию бояр да разнуздавшихся стрельцов. Кроме того женщина на такой высоте — правительницы царства — была необычным явлением в России того времени, и пожалуй противников у царевны Софьи в годы ее регентства было всегда гораздо больше, чем сторонников и приверженцев.

Открытого недовольства ее правлением не было. Народ знал, что нужно же кому-нибудь быть на царстве, пока не подрастет наследник Тишайшего, царь Петр Алексеевич. Старики еще помнили ужасы лихолетья и были твердо уверены, что хоть какая-нибудь власть все же лучше, чем ее отсутствие, и поэтому сдерживали от открытого бунта против правительницы тех, кто был помоложе. Может быть, из-за этого соображения люди мирились с царевной, но умаление законов все-таки чувствовалось во всем. Правительница, чтобы удержать власть в своих руках и чтобы самой удержаться «превыше царей венчаных», должна была делать всякие послабления своим наиболее заметным и могущественным приверженцам, а те, чувствуя свою безнаказанность, своевольничали, как хотели, вызывая протест и отпор со стороны народа, изнемогавшего от их своевольства и озорства.

Народная масса выражала свой протест против умаления и сокрушения закона и

своевольтва знати, как и всегда, грубо. Наиболее буйные и наиболее обиженные уходили в леса, на большие дороги, составляли разбойные шайки, грабили проезжих и преимущественно купеческие караваны, иногда нападали на помещиков.

Словом, чернь отвечала на своевольтво и бесчинство знати своим своевольтвом и бесчинством. Неистовствовали верхи, их примеру следовали и низы. И, чем больше озоровали и насильничали первые, тем больше становилось разбойных шаек.

Страдать от этого приходилось тем, кто был мирен, для кого еще существовали законы и кто на них строил распорядок своей жизни.

Жить становилось все тяжелее и тяжелее. Грубая сила крушила право. Никто не хотел знать обязанности. Каждый желал, чтобы его личная воля была законом. Кто был силен, тот был и прав.

Именно в силу таких условий и создалась большая разбойная шайка, обратившая в свои владения огромный дремучий лес с большой дорогой, пролегавшей на Москву. По всей округе наводили ужас разбойники. Про них говорили с ужасом, что это — не люди, а дикие, хищные звери, даже хуже их: ведь сытый зверь не трогал без надобности; злодеи же не только грабили, что было бы понятно в их положении, но и убивали, причем убивали не ради необходимости, а ради самого

убийства, ради пролития крови. Бывали случаи, — правда, редкие, — когда даже некоторые из разбойников не выдерживали творившихся ужасов и убегали от товарищей, а затем, предпочитая верную гибель от руки палача, отдавались с повинною воеводам, хотя те и расправлялись с ними без всякого милосердия.

Особенно страшна была эта разбойная шайка своей сплоченностью. Во главе ее стоял человек несокрушимой воли, сотканный из железных нервов и отличавшийся прямо нечеловеческой отчаянностью. Кто он был — не знали даже ближайшие к нему люди из шайки. Он появился в этих местах никому неведомый, собрал людишек буйных и начал разбойное неистовство. Скоро вся округа дрожала от его разбойных дел. Действовал он всегда с отчаянной смелостью. На него и его шайку предпринимались большие облавы, но главарь был неуловим и ускользал, как тень, каждый раз, как только пробовали захватить его врасплох.

По рассказам убежавших из шайки можно было судить, что этот изверг был молод, но при этом, как рассказывали, лют по-зверски. Вид жертв, обреченных на смерть, жалких, вопящих о пощаде, будил в нем веселость, зрелище их смертных мук вызывало в нем хохот. В схватках он был неустрашим и всегда кидался туда, где была

наибольшая опасность. В своих приговорах этот атаман был неумолим. За все проступки в его шайке было только одно наказание — смерть, и не было известно случая, чтобы раз произнесенное решение было отменено. Благодаря этому железная дисциплина крепко спаивала между собою разбойников, заставляла их без всяких рассуждений повиноваться вождю. Если прибавить к этому, что всех беглецов из шайки вскоре после побега находили убитыми, где бы они ни прятались, то понятно станет, что редко кто решался покинуть грозного атамана. Напротив того, несмотря на тяжелейшие условия, к нему шли люди, шли чуть не толпами, и, если бы грозный атаман пожелал, он быстро мог бы составить громадное скопище отчаянных головорезов. Но он, очевидно, не желал этого — его шайка не была особенно многочисленна.

II НЕЖДАННЫЙ ОКЛИК

В тот день, с которого начинается рассказ о правдивой истории давным-давно прошедших лет, шайкой было произведено нападение на проходивший мимо купеческий караван. Последнему не помог и конвой из стрельцов, сопровождавший его. Разгром был полный. Как и

всегда бывало, ни в чем неповинные приказчики, извозчики, грузильщики были перерезаны без пощады, перебит был и конвой. Каким-то чудом уцелело только двое: один приказчик, отчаяннее всех сопротивлявшийся разбойникам, да еще несчастный жалкий стрелышка, притворившийся мертвым в самом начале схватки.

Схватка на этот раз была жестокою. Сопротивление нападавшим было оказано и в самом деле отчаянное. Один уцелевший приказчик чего стоил! Силища у него была медвежья — он так и швырял наседавших на него разбойников. Атаман, вопреки своему обыкновению, приказал взять его живым и даже без единой раны, а это стоило шайке четырех товарищей; двум из них силач, сопротивляясь, раздробил головы, двое еще умирали с переломленными позвоночниками.

Теперь этот силач, опутанный веревками, ожидая своей участи, лежал под деревом, с завязанными глазами, с толстым кляпом во рту.

Разбойники, утомленные схваткой и кровавой расправой с караванщиками, зарыли трупы своих несчастных жертв и отдыхали около громадного костра, разложенного в овраге без всякой опаски. Среди них очутился и стрелец. Утомленные кровавой бойней, душегубы взяли его к себе для забавы. Они уже порядком подпоили его хмельной

брагой и громко смеялись, слушая его хвастливые пьяные речи.

Бедняга как будто не совсем ясно представлял себе, что именно произошло. По крайней мере он как будто чувствовал себя далеко не плохо среди душегубцев и, когда они хохотали, сам весело вторил им.

— Эх, ребята! — сказал он, оправляя обрывки своего стрелецкого кафтана, — взяли бы вы меня к себе, так никогда скуки не видали бы... Уж больно я парень-то веселый.

— Ну, коли так, скоро на том свете развеселое житье пойдет! — глумились над ним разбойники.

— На том, так на том, — согласился пленник, — мне все равно...

— Будто? Иль жизнь опротивела?

— Не то, чтобы опротивела, а двум смертям не бывать, одной — не миновать. Поди, и сами это знаете...

— Как не знать? на этом и живем, — слышались отзывы, — кажинное утро просыпаемся, не зная, будем ли живы о полдень.

— И все теперь так живут, — возразил стрелец, — ишь, чем похвастаться нашли. Первеющие бояре и те с такими же думами просыпаются...

— Разве? Они-то с чего?

— Как с чего? Разве бояре-то не ваш брат Исаакий? Только и разницы между вами: вы на большой дороге народ православный грабите, а они на Москве златоверхой... И по вас, и по них два столба с перекладиной плачут: ждут не дождутся, когда пожалуют гости дорогие...

Громкий смех встретил слова пьяненького стрельца. Это ободрило его. Он потянулся к жбану с брагой, налил ее в ковш чуть не до краев, выпил единым духом, крякнул и утерся лохмотьями рукава.

— Молодец! — одобрил один из разбойников.

— Пить-то? — подхватил его замечание стрелец, — и не говори! Кто хочет пить научиться, пусть в московские стрельцы идет...

— Будто уж насчет этого так у вас на Москве хорошо?

— Чего хорошо! Море разливное... Есть не проси, а пить, сколько хочешь, заливай душеньку огненным пойлом. С тех пор, как померла царица светлая Агафья Семеновна да преставился после нее ее супруг, великий государь царь Федор Алексеевич...

— Тише, молчи! Атаман! — понеслось вокруг и все разом смолкло.

К разбойничьему кругу около костра подходил высокий, красивый, далеко еще не старый человек в богатом кафтане с саблей на боку и двумя

пистолетами за поясом. На его лице был виден отпечаток тяжелых страданий, но глядел он вокруг себя с холодным высокомерием. Подойдя, он в упор уставился на хмельного стрельца, и его глаза вдруг зловеще сверкнули.

— Этот чего еще на сем свете болтается? — хрипло крикнул он, — чего ему на земле нужно? Или на том свете места мало?..

Он поднял руку, готовясь дать роковой для несчастного знак, но в это время вдруг раздался громкий, укоряющий голос:

— Князь Василий, а, князь Василий! Бога побойся!

III ВНЕЗАПНАЯ ВСПЫШКА

Грозный атаман так и задрожал, услышав этот голос.

— Кто, кто смеет? — вырвался у него крик и, обернувшись, он грозно, свирепо, дико взглянул в ту сторону, откуда раздалось укоряющие слова.

Пощаженный разбойниками силач-приказчик каким-то образом освободился и от наглазной повязки, и от кляпа и теперь, сидя под деревом, с укором глядел на разбойника.

— Князь Василий, князь! — понесся придавленный шепот среди разбойников, — так вот кто у нас атаман-то!

— С того-то он и лют непомерно, — довольно громко высказался один из разбойников. — Княжеское отродье всегда видно: им бы только лютовать над нашим братом...

Разбойник не договорил: щелкнул выстрел — и несчастный со стоном повалился на землю, пораженный пулею атамана. Весь разбойничий круг, вскочивший на ноги, так и замер, а грозный атаман, как был, с дымящимся еще пистолетом в руке, очутился около пленника.

— Узнал? — наклонившись к нему, задал он вопрос, — узнал-таки?

— Еще бы не узнать-то? — спокойно ответил тот, — мало разве на тебя нагляделся? Да ты об этом после... Теперь себя побереги... Вишь, твои-то как освирепели! Дай-ка мне ножик путы разрезать, может, я еще пригожусь на что-либо...

Атаман оглянулся.

Случилось то, что нередко бывает среди людей, сцепленных между собою только общностью преступления.

Вид товарища, корчившегося на земле в предсмертных муках, осатанил этих озверевших и без того людей. Может быть, это новое злодеяние их атамана было последнею каплею,

переполнившей запасы их долготерпения; может быть, они сообразили, что не для того сошлись они все сюда, на большую дорогу, не для того порвали все, связывавшее их с честной, мирной жизнью, чтобы быть хуже, чем в рабском подчинении, и у кого?.. Пока они думали, что у такого же, как и они, обиженного и униженного, все было ничего и даже слепо-рабское подчинение не казалось особенно тяжелым. Но теперь, когда они внезапно узнали, что во главе их стоит ненавистное им «княжеское отродье», в них, собственно говоря, и на большую дорогу-то вышедших ради бессознательного протеста против неистовавшей и измывавшейся над угнетенным народом знати, закипела, разом проснувшись, ненависть; забыто было все прошлое, они в эти мгновения жили только одною ненавистью и жаждали крови человека, которому за миг до того повиновались беспрекословно.

Теперь эти обезумевшие люди готовы были в клочки разорвать своего грозного атамана. Он сразу потерял над ними всю свою власть, все свое влияние и из недавнего еще владыки обратился в беспомощного, загнанного зверя.

Атаман понимал и сам свое положение. Оно, действительно, было критическим. Из огнестрельного оружия, которым только и можно было сдерживать наступавшую толпу, у него оставался только пистолет. Правда, у него была

сабля — засапожный нож он кинул своему пленнику, — но что все это значило пред хорошо вооруженной толпой, у которой были и пищали, и пистолеты, и сабли, и тяжелые топоры-секиры?

Наступавшая толпа галдела, ревела, бесновалась. Взлохмаченные волосы, дико сверкавшие глаза, рубахи с еще не просохшею кровью, — все это сливалось пред атаманом в одно хаотичное целое. Казалось, на него наступала не толпа его соучастников в разбоях и злодействах, а какое-то диковинное, многоголовое чудовище, освирепевшее, не знавшее пощады, жаждавшее его крови.

В таком положении атаман забыл о своем пленнике. Он видел пред собою только озверевшую толпу и понимал, что лишь хладнокровие и присутствие духа могут спасти его.

— Прочь, вы, песьи дети! — закричал он, поднимая оставшийся заряженным пистолет, — прочь вам говорят, волки бешеные! Первого убью, кто только шаг ступит...

Вид поднятого пистолета заставил толпу отступить назад шага на два.

— А, трусите, висельники окаянные? — закричал атаман. — Живо по местам все!..

Но на этот раз оклик не подействовал.

— Усь его, усь, собаку, — так и юлил пьяненький стрелец, натравливая разбойников на

атамана. — Чего, братцы, стали?.. или вы, холопы несчастные, князя испугались?.. Вот он вам сейчас батожья горячего всыплет... Или давно, атаманы-молодцы, этого кушанья не пробовали?..

Стрелец суетился впереди всех. У него в руках был разряженный пистолет атамана, который тот бросил, кинувшись к своему пленнику. Пьяненький размахивал им и, указывая на атамана, выкрикивал:

— Айда! Усь его, чего стали!

Его ирония подстрекающе действовала на разъяренную толпу. Грозный атаман решительно ничего не представлял собою для этого чужака; он отнюдь не был для него грозой, и этот пьяница своими насмешками вконец разрушил остатки обаяния атамана.

— Подержи-ка лоб, негодник! — крикнул тот, сообразив положение, и, с этими словами, направив на стрельца пистолет, дернул за собачку.

Но судьба не благопритствовала атаману. Последовала осечка, и толпа так и завывала, увидав новую неудачу своей жертвы.

— Ишь, ты без пороху палить вздумал? — закричал стрелец, — а еще князь именитый!.. Моего лба хотел, свой подержи! Вот так! — и он, схватив за дуло, метнул в атамана его же пистолетом.

Тот схватился было за саблю, но в этот же момент пистолет, кувырнувшись неуклюже в воздухе, угодил ему своей тяжелой рукоятью в голову около виска. Атаман слабо вскрикнул, взметнул руками и, ошеломленный страшным ударом, рухнул на землю.

IV НЕЖДАННАЯ ВЫРУЧКА

Все это было делом одного мгновения.

Едва только упал сраженный атаман, как вся толпа разбойников, стремительно сбив с ног неугомонного стрельца, кинулась к своему еще недавнему повелителю. Теперь-то, казалось, гибель этого человека была неизбежна, но тут случилось нечто неожиданное.

— Не трожь, ребята, говорю! — раздался ровный, спокойный голос и своею неожиданностью и спокойствием произвел на толпу магическое впечатление. — Посторонитесь-ка, братцы, поотодвинься малость!..

Пред толпой, выпрямившись во весь свой богатырский рост, стоял недавний пленник, приказчик разгромленного обоза. Его вид был необыкновенно внушителен. Он был на голову выше всех в этом разбойном скопище; в плечах у него что косая сажень была заложена; его руки,

длинные и цепкие, спускались до колен, а грудь так и подымалась колесом под изорванною в ключья рубахою. Он стоял спокойно около лежавшего на земле без чувств атамана. Ярость освирепевшей толпы, очевидно, нисколько не пугала его. Он не боялся ее, как будто сознавая свое превосходство над всеми этими людьми, которые были более несчастны, чем злы. К тому же теперь он был не совсем безоружен: в его руках был огромный толстый суковатый кол, на который он совершенно спокойно опирался.

Толпа, ошеломленная неожиданным заступничеством за свою жертву, на мгновение приостановилась.

— Что стали? — крикнул кто-то из разбойников. — Забить их обоих!.. Вали, молодцы!

Повинуясь этому оклику, разбойники, но далеко уже не так дружно, как прежде, двинулись было вперед.

— Ну, ну, молодцы, — прикрикнул на них пленник, — полегче вы!.. Говорю, лучше отодвинься!

Он слегка пошевелил колом, и в этом движении было столько угрожающего, что толпа и в самом деле несколько поотодвинулась.

Внезапно вспыхнувшее бешеное озлобление так же быстро и опало, как быстро вспыхнуло. Сознание просветлело, вернулась снова

способность соображать и рассуждать, буйный порыв стих, и уже никому не хотелось подставлять свою голову под страшную палицу освободившегося пленника, силу которого все видели, а некоторые и на себе извели.

— Ну, вот так-то и лучше, братцы! — с добродушной усмешкой проговорил великан, — кажись, мы и без драки сговориться можем. Так вот, вы и послушайте меня...

— Говори! — раздалось несколько голосов, — ежели хорошее что скажешь, так отчего и не послушать?

— Вот и ладно! — отозвался недавний пленник. — Так вот, что я сказать вам хочу. То, что на большой дороге было, а потом в овраге, пусть Бог рассудит. Его святая воля! Ежели Он попустил, так, значит, было надобно... Он с виноватых взыскивает и не нам против Него идти. А вот что теперь будет, так это — уж наше дело. Этого человека я вам не уступлю: он мой уже давно... Старые счета между нами, бо-ольшие счета! Ежели к примеру, так сказать, я из него кровь по единой малой капельке всю выточу, так и то он у меня в долгу останется.

— Ого! — воскликнул кто-то из разбойников.

— Вот тебе и «ого», — отозвался богатырь. — Понимаете сами, почему я вам его уступить не могу... Да и на что он вам нужен? Ведь после того,

что вышло, атаманом над вами он быть не может, — друг другу верить ни в чем не будете, а ежели вы убить его желаете, так бросьте! Не надоело вам, что ли, душегубство? Вы его мне отдайте, вот мой сказ. Согласны?

— А что нам за это будет? — выступил подбоченившись очухавшийся стрелец.

Великан посмотрел на него, засмеялся, а затем сказал:

— Чудишь, Ермил, брось смешить! А вы, братцы, ежели про выкуп меня спросите, то вам я, так и быть, отвечу. Головы ваши у вас на плечах уцелеют, вот это и будет вам моим выкупом. А вы мне коня дадите еще...

Он опять, словно невзначай, передернул плечами и шевельнул колом. И слова, и жест показались настолько внушительны, что разбойники, переглянувшись только, все разом пришли к молчаливому соглашению.

— Ну, Бог с тобой, добрый молодец! Пусть наш атаман тебе достается; бери себе, что нам негоже! Хоть вот здесь, в овраге, свои счета с ним своди, мешать не станем...

— Нет, уж я лучше на стороне, — уклонился от этого предложения недавний пленник.

— Твое дело! Мы с тебя воли не снимаем. Бери его и уходи, коня тебе сейчас приведут. А что он — в самом деле князь?

— Природный! — усмехнулся богатырь. — С чего он в разбой пошел, того не ведаю, а только разбойником... да чего там разбойником! — зверем лютым он всегда был...

— Оно и видно! — раздались голоса, — и с нами он больше лютовал, чем промышлял...

— Ну, бери его, князя твоего, бери да уходи скорее! — закричал Ермил, — а не то товарищи свою милость назад возьмут... Вот тебе конь!

В самом деле подвели хорошего скакуна с хорошо снаряженным седлом.

Богатырь, как перышко, поднял тело все еще бесчувственного атамана и вместе с ним взобрался на коня.

— Эх, Ермил, Ермил, — укоризненно покачал он головой, обращаясь к стрельцу, — нехорошо ты делаешь, что здесь остаешься!

— Ладно, добрая душа, — выкрикнул тот, — не тебе знать, что для меня хорошо, что дурно! Поезжай-ка с Богом! — и с этими словами стрелец, превратившийся в разбойника, вытянул коня хворостиной и гикнул.

Испуганное животное рванулось с места и понеслось к дороге, вившейся по круче оврага.

Скоро становище разбойников скрылось уже из виду.

V В ЛЕСУ

Конь был ходкий, привычный к грузу и бойко нес свою двойную ношу.

Богатырь, один устранивший свою решимостью столько отпетых злодеев, был с виду по-прежнему спокоен; тревога только тогда начинала скользить в его взоре, когда он взглядывал на своего бесчувственного пленника. Страшный удар рукоятью тяжелого пистолета не разбил ему головы, по крайней мере крови не было видно, но все-таки удар был так тяжел, что надолго лишил атамана сознания.

Однако тряска, неудобство положения на седле, свежесть надвигавшегося вечера уже понемногу приводили беднягу в себя. Все чаще и чаще раздавались его слабые стоны и был близок момент, когда он должен был окончательно опомниться.

Спасший его богатырь, слыша вздохи и стоны ошеломленного столь сильно бедняги, то и дело покачивал головой. Видимо он сильно беспокоился за него. Наконец он решительно остановил коня и, осторожно придерживая недавнего атамана, сошел вместе с ним на землю. Они в это время были в лесу, уже значительно поредевшем, что показывало

на близкий конец его. Может быть, из-за этого и остановился здесь освободившийся пленник.

— Пооправить бы его малость нужно, — тихо прошептал он, укладывая беднягу-атамана поудобнее у подножия большого, широко раскинувшегося своими ветвями дерева. — Эх, и людям показать нельзя... Признают, кто он, — в клочки разорвут... И куда бы мне укрыть его, вот чего не ведаю. Везде боязно оставить!

Как раз в это мгновение ошеломленный атаман пришел в себя. Быстро, нервным движением поднялся он на руках и осмотрелся мутным взором налитых кровью глаз.

— Где они, где? — закричал он, не узнавая местности. — Отчего их нет?.. А-а, вы меня убить захотели?.. Вот я вас!.. Всех перебыю, будут помнить, окаянные!

— Будь, князь, спокоен, — склонился над ним спасший его силач, — кроме меня никого нет... Твои-то все, ау, далеко!

Князь-атаман устремил на него свой воспаленный взгляд и забормотал:

— Это ты, Петька, опять ты! Откуда ты появился! Ах, да, помню... Ты опять спас меня от неминуемой смерти...

— Видно, так мне уж на роду, князь Василий Лукич, написано, чтобы тебя вызволять! — тряхнул головой великан. — Из-под медведя я тебя

выцарапал, от самого себя спас, из польской неволи высвободил, вот теперь опять привелось... Да что об этом говорить-то?.. Надо думать, что Господь мне так повелел свои счета с тобою сводить. А дюже твои-то на тебя осерчали. Видно, осточертел ты им...

По лицу князя пробежала судорога, но он ничего не сказал в ответ.

— Вот не думал-то, — продолжал Петр, — что встречу среди разбойного сброда именитого своего князя Агадар-Ковранского... И как только это случиться могло? Ума совсем не приложу... Хоть ты мне скажи... А не хочешь — не говори; знаю — нелегко про такие-то дела рассказывать...

Он опять взглянул в лицо князя. Оно было мертвенно-бледно; глаза были широко раскрыты, но в них не отражалось мысли; губы шевелились, как будто князь хотел что-то говорить, но слова не срывались с его уст.

— Ахти, беда, — опять закачал головою Петр, — вишь ты, снова обеспамятовал... Ох, грехи, грехи! Что же мне теперь с ним делать?

Он остановился и осмотрелся вокруг. Разбойничий конь, привыкший к подобным остановкам, спокойно пасся тут же на лужайке, поблизости. В лесу все было тихо. Близился вечер. Даже птицы переставали чирикать.

«Опять обеспамятовал, — думал Петр, — может, огневица начинается... Куда его девать? На село свезти? Нельзя! Ведь знаю его... видали атамана-то... Озлятся и, поди, убьют, как увидят, а не убьют, так воеводе выдадут. Далекo завезти тоже нельзя: больного куда повезешь? И выходит: куда ни кинь, все клин! Что делать? Хоть бы Господь Батюшка на ум навел; у Него, Всемиловитца, и к зверям всяческая жалость есть... Чу, откуда это?».

Петруха весь так и насторожился, напряженно прислушиваясь к доносившимся откуда-то издалека странным, нестройным звукам. Слышалось, как будто кто-то дробно часто ударял палками в большой железный свободно висевший лист. Удары были то глухие, сильные, с перерывами, то переходили в дробь, так и сыпавшуюся в лесном безмолвии.

Услыхав эти звуки, Петр весь так и просветлел.

— Милостив, видно, Господь к нечестивцу, — тоном глубокого убеждения проговорил он, — в било бьют, святая обитель близко...

Он подошел к князю. Тот лежал и бредил.

— Ясочка моя, касаточка! — довольно внятно срывалось с его запекшихся губ, — и счастливо пожить-то тебе злые люди не дали... Извели тебя вороги окаянные, Милославские лютые... У-ух,

расплачусь же я за твой венец мученический с палачами твоими... Нет той муки, которой бы я для них не придумал...

— Все царицу покойную Агафью Семеновну вспоминает, — тихо, с грустью проговорил Петр, — за нее Милославским отмщать собирается... Поди, он ее один и помнит, хотя много ли годков с ее мученической кончины-то прошло... Эй, князь Василий, — потряс он за плечо бредившего, — послушай-ка ты меня. Можешь подняться да на коня сесть?

VI У ВРАТ ОБИТЕЛИ

Силы и сознание совершенно оставили князя Василия.

Несомненно, что потрясение было настолько сильно, что даже могучий организм этого человека не мог с ним справиться. С величайшим трудом взгромоздил Петр князя на коня, а сам пошел рядом, поддерживая его. Шел он на звуки монастырского била, доносившегося с каждым шагом коня вперед все явственнее и явственнее.

Так, с величайшим трудом пришлось пройти, продираясь сквозь кустарники, несколько больше версты.

Монастырек, маленький и бедный, ютился на обширной поляне с большим лесным озерком. Плохо срубленная оградка сильно обветшала. Из-за нее виднелись крохотные, топорной работы, главки убогой монастырской церкви и соломенные крыши столь же убогих келий-изб.

Вся обителька была миниатюрна, словно игрушечная. От нее веяло великим покоем; жизнь с ее бурями и вихрями не добиралась сюда в эту безмолвную тишь. Озерко тоже было спокойно; оно словно спало невозмутимо среди лесных великанов — елей и сосен, росших по его берегам и защищавших его спокойствие от бурных шквалов налетавших иногда ветров.

— Господи Иисусе Христе, — ударив молотком, начал было Петр обычное монастырское обращение, когда добрался до плохо притворенной калитки в ограде, но даже и докончить не успел его.

— Ась, кто там? — послышался старческий шамкающий голос, — кого еще Господь Батюшка несет? — и словно из-под земли вырос старенький-престаренький монашек-привратник. — Ох, ох, что за люди? — шамкал он, — откуда такие?

— Путники, — ответил Петр, — двое нас... Вот товарищ нежданно заболел... Примите Христа ради...

— Заболел? Ахти, беда какая! — засуетился монашек. — С чего же с ним приключилось-то такое? Вы уже подождите здесь Бога для, а я к отцу игумену сбегая... Недолго я, единым духом смахаю... Вон и братия собралась... Тоже, хоть и ангельского жития, а любопытствуют...

Действительно, внезапный стук Петра в калитку нарушил обычную тишину и всколыхнул замершую в обители жизнь. Появление новых людей было столь необычно для ушедших навсегда от мира стариков, что и в них заговорило уже давно забытое любопытство. Собралась вся братия: несколько древних монастырских, мохом обросших от своей древности, иноков да два-три послушника помоложе. Все они стояли и, не говоря ни слова, смотрели на прибывших, как на какое-то невиданное чудо.

— Ишь ты, конь-то как разубран! — произнес один из стариков и, сильно вздохнув, зачем-то прибавил: — о-ох, суета сует и суета всяческая!.. Марфо, Марфо, пецешеса о мнозем... а ад-то вот тут совсем близко; костры горят, котлы кипят, враги рода человеческого ликуют... Что тебе, милый? — прерывая свои рассуждения, обернулся он к склонившемуся к его уху молодому послушнику.

— Откеле бредете? — деловито спросил другой старичок.

Петр не успел ответить: к ним подошел сам настоятель обители, такой же древний старичок, как и остальные, но только более суровый с вида. Он пристально взглянул и на Петра, и на снятого уже с седла князя, находившегося в забвенье.

— Кто такие? — отрывисто спросил он, когда Петр метнул ему земной поклон и подошел после того под благословение. — Чем недужит? — указал он на больного.

— В дороге попритчилось, — не отвечая на первый вопрос, сказал Петр, — трясовица, видно, злая... Приютите, святые отцы, Христа ради, не дайте погибнуть душе христианской без покаяния!..

— Как, отцы, думаете? — оглядел братию настоятель. — По-моему, недужного надобно приютить...

— Приютить-то недолго, — выступил инок, шептавшийся с послушником, — отчего Христа ради недужного не приютить? Да как бы святой обители от того беды и греха не вышло?

— Какой беды? Какого греха? — уставился на него настоятель, — о чем, отец, говоришь-то?

— А о том, отец игумен, — ответил старец, — что не простой человек недужный-то, а лихой: душегуб и разбойный атаман, вот кто он такой... Слыхали, поди, шайка разбойных людей в нашей округе завелась? Так вот он над той лютой шайкой и атаманствует!

Сперва словно тихий шелест пошел среди безмолствовавшей братии, но потом привычка взяла свое и все замолкли.

Настоятель, внимательно поглядел на Петра и суровым тоном спросил:

— Правда?

— Правда, отче! — твердо ответил тот, смотря своим светлым взором в глаза монаху. — Лгать не буду!

— То-то ты и увильнул, когда я спрашивал, кто вы такие будете... Сам-то ты тоже из душегубов большедорожных?

— Нет, отче, — твердо ответил Петр, — никогда разбойными делами не занимался и, пока Господь не попустит, заниматься не буду...

— Так как же вы вместе очутились-то?

В ответ на это Петр рассказал все, что случилось с обозом, к которому он принадлежал, а потом среди разбойников.

— Никогда я не лгал, — закончил он свой рассказ, — и теперь правду говорю. Грешник он великий, не одно только атаманство у него на душе... Много грехов у него, да ведь нельзя же дать погибнуть и такой душе без покаяния...

— Верно! — произнес настоятель. — Ну, отцы, как? Вы слышали...

— Нельзя принимать! — высказался все тот же старец, который первый заговорил против принятия недужного.

Остальные молчали, видимо присоединяясь к уже высказанному мнению.

— Стыдитесь, отцы! — громко воскликнул настоятель, — не узнаю я вас... Судите вы человека по делам его, которых и не знаете даже... Богу единому суд: «Мне отмщение и Я воздам», — говорит Господь!

VII В ОБИТЕЛИ

Старичок-настоятель был взволнован и казался в то же время сильно разгневанным. Он смотрел, переводя взоры, то на больного, беспамятного разбойника, то на Петра, стоявшего около него с понуренной головой, то на смущенную его упреком братию. Наконец, он заговорил резко, властно, внушительно.

— Данной мне от Бога властью, — громко, отчетливо, повышая каждое слово, начал он, — беру я этого неведомого человека, лютой болезнью одержимого, в святую обитель нашу. Неисповедимы пути Промысла, и не нам — грешным, слабым людям — проникать в них! Не нам судить ближнего — пусть его Господь судит;

пред лицом Господним все грехи человеческие... А тебе, отец Харлампий, — обратился он к старцу, указавшему, кто такой был недужный, — суетой мира прельщенному и Христа Бога нашего позабывшему...

— Прости, отец, — склонился пред ним старец, — ангел, должно полагать, от меня отступился и лукавый посетил...

— Погоди, помолчи! — прервал его настоятель. — Тебе, говорю, суетою мира прельщенному, послушание назначаю: возьми недугующего к себе в келью и ходи за ним, пока не выздоровеет он. Ходи прилежно, без доуки, ты к тому же от Господа в понимании трав и кореньев лечебных умудрен... Вот твое послушание!

Провинившийся старец смиренно поклонился настоятелю и, указывая молодым послушникам на беспамятного князя-разбойника, сказал:

— Помогите-ка, мне, недостойному, милые! Немощна плоть моя, сила оставила тело мое. Понесите-ка его, милые, в келейку мою... — Он снова поклонился в пояс настоятелю и добавил: — согрешил я, отче, согрешил, окаянный; прости ты меня, немощей моих ради!..

— Бог простит, — сурово ответил настоятель, — иди и впредь не грехи! — Он внимательно проследил, как послушники подняли недужного разбойника и понесли его к одной из

изобок-келий, а затем распорядился: — коня-то выводите, напоите, овса задайте, Божья тварь! А ты, молодец, — обратился он к Петру, — иди за мной!

Скоро в обители наступила прежняя, ничем не нарушаемая тишина. Словно в сон глубокий погрузились и люди, и лес, и тихое озерко. Только по далекому небу плыли вечерние облака, гася последние отблески уже давно наступившего заката.

Наутро, чуть свет, Петр был отпущен игуменом. Долго длилась накануне его тихая беседа со строгим настоятелем и все, все без утайки рассказал он старцу — и про себя, и про князя Василия Лукича Агадар-Ковранского, и про его горемычную жизнь. Этот рассказ не был покаянной исповедью, но был так же правдив, как она. И внимательно слушал старик-игумен, чувствуя, что искренни были слова этого простодушного богатыря, что в рассказе ничего он не пытался скрывать от своего сурового слушателя.

«Прост, как дитя, парень, — вздыхая, думал старик, — христиански незлобиво его сердце; как младенец он, а такие-то и Господу угодны»...

Отпуская, он благословил Петра и даже просфору ему дал, собственноручно вынутую.

Жизнь опять замерла в обители после отъезда Петра. Изредка бороздил челнок инока-рыболова

гладь тихого лесного озерка, а то не было видно по целым дням никого ни у ограды обители, ни на ее тесном дворе. Только рано по утрам да под вечер созывал монах-звонарь ударами в било братию на молитву в убогий храм.

Но жизнь замерла только во внешности... Мощно ворвалась она бурным потоком в тихую обитель, разлилась по ней всюду, вплеснулась в каждое сердце человеческое и нарушила его недавнее спокойствие. То и дело у келейки отца Харлампия, словно невзначай, сталкивались молодые парни-послушники, перекидывались будто мимоходом двумя-тремя словами и разбежались, как разлетаются испуганные воробьи в разные стороны, завидев приближавшегося старца.

Молодыми послушниками руководило любопытство; оно же беспокоило и отживших свой век старцев.

Легендарна была известность грозного атамана разбойников. Рассказы о его жестокостях приводили в трепет людские сердца. Сколько людей проклинали его, об этом только Бог один, всеведущий, знал, сколько человеческих жизней тяготило душу этого отверженца. И вот он, этот страшный человек, этот беспощадный душегуб, лежал в стенах мирной обители, в приюте великой Христовой любви, среди людей, давно уже позабывших, что такое ненависть. Старик-инок,

высказавший ему неприязнь, ухаживал за ним, как самый близкий ему человек.

Отец Харлампий оказался и в самом деле искусным врачом. От его снадобий князь-разбойник скоро почувствовал облегчение. Дня через три он пришел в себя, и только необычная слабость приковывала его к ложу. Сначала он долго не мог сообразить, где он, что с ним, кто такой этот старик, почему он то молится у плохоньких иконок, то возится около него, разбойника. Не раз разбойничьему атаману делалось смешно, когда он видел, как, заслышав его стон, вскакивал прикорнувший было старик, как он спешил подать ему питье, ласково приговаривая:

— Господь с тобою, родимый, спи спокойно!..
Да хранят твой сон святые ангелы!..

Скоро князь-разбойник сообразил, где он и что с ним.

— А, пустосвяты проклятые, мироеды черные! — вдруг вспыхнула в нем злоба, — вылечат скорее, чтобы здорового воеводе выдать да жалованье получить... Знаю я их...

Ни с того, ни с сего беспричинная злоба на оказавших ему добро людей росла и росла...

Однажды инок Харлампий, отправлявший чреду в храме, не нашел в своей изобке больного. Кинулись искать его, не нашли и коня.

Князь-разбойник, едва оправившись бежал из обители.

VIII НА СВОБОДЕ

Действительно, князь-разбойник бежал, как только подорванные болезнью силы несколько вернулись к нему.

Основой всего его духовного существа была ярая, непримиримая злоба ко всем — и к друзьям, и к недругам. Был единственный в жизни момент, когда в этой мрачной, вечно бушевавшей душе всколыхнулась любовь, но это был только луч солнца, скользнувший случайно во мраке полярной ночи: скользнул, засветился на миг — и опять нет его, и снова крошечная тьма...

Однако этот единственный светлый луч, которым князь Василий Лукич Агадар-Ковранский был обязан своей любви к Ганночке Грушецкой, потом царице Агафье Семеновне, навсегда остался памятен ему, и воспоминание о нем ярко горело в его омраченной душе.

В неистовствах, в душегубстве, в кровопролитиях князь Василий утолял свою злобу на жизнь, но связь с жизнью еще сохранялась, пока он не знал, что царица Агафья Семеновна скончалась. Вслед за нею скончался и сыночек ее,

царевич Илья, а вскоре преставился и царь Федор, вынужденный жениться вторично на воспитаннице боярина Матвеева, Марфе Матвеевне Апраксиной. Видно, не вынес молодой государь тоски по любимой женщине и не приковала его к жизни другая, молодая и красивая, но не любимая жена...

Когда князь Василий узнал о кончине царя Федора, понял он, что значит истинная любовь, и, поняв это, разбушевался еще более. Слова пьяного стрельца Ермилы разбередили душевную рану, и, когда, выздоравливая, он вспомнил все происшедшее в овраге, злоба сильнее, чем прежде, забушевала в его сердце.

«Милославские, Милославские сгубили ее, голубицу чистую!» — всплыла опять мысль, не раз уже приходившая князю в голову и ранее.

Эта мысль была первою, которая пришла ему, когда он услышал о кончине кроткой царицы. Она так и сверлила его мозг, не давала ему покоя, и кричала ему о мести за погубленную жизнь любимой женщины.

Именно эта мысль о мести более всего и побудила его тайком покинуть тихую обитель.

Князь Василий страшился расспросов, которые были неизбежны со стороны иноков. Он боялся, что его начнут упрекать его полной кровавых дел жизнью, стращать геенною огненной и всякими адскими муками. Князь знал, что ему в

этом случае не сдержаться, что он вспылит, а между тем какое-то чувство, таившееся в глубине души, не позволяло ему обидеть чем-либо этих так хорошо относившихся к нему стариков.

Поэтому-то он и решил тайно покинуть обитель.

Словно волк, вырвавшийся из западни, чувствовал себя князь Василий, очутившись на свободе. Даже сил как будто прибавилось. Он гнал коня, немилосердно хлеща его бедра тугой с проволокою плетью: князю хотелось мчаться, лететь быстрее ветра, причем хотелось не потому, что он боялся, а потому, что ему нравилось так мчаться и вдыхать полной грудью свежий воздух, бодривший его в эти мгновения.

Куда нужно держать путь, князь Василий не разбирал. Ему было все равно, — он не думал о будущем, а о прошедшем также не вспоминал, словно его и не было. Порой ему было даже весело.

Уставший конь пошел тише и тише. Князь Василий сообразил, что животное нужно беречь, — ведь другого такого коня ему не достать бы теперь скоро. Раздумывая, как быть, он припомнил, что поблизости от проселка, по которому он ехал, на большой дороге, есть заезжий дом, хозяин которого косвенно принадлежал к его шайке.

«Поеду туда, — безопасно решил Агадар-Ковранский, — не посмеет не принять меня».

В самом деле, весть о распаде шайки и бегстве атамана, по-видимому, еще не успела дойти в эти места. Хозяин-дворник встретил атамана с подобострастием, и чуть не в ноги ему кланялся, когда тот отдавал распоряжения выводить и накормить коня, а себе подать заморских вин побольше, да бокал пообъемистее, а ко всему этому и снеди всякой: после долгой поездки князь Василий чувствовал и голод, и жажду, и утомление не малые.

Насытившись и со слегка кружившейся головой, князь Василий приказал себе застлать постель в соседнем покое, строго запретил чем-либо беспокоить его и скоро заснул богатырским сном.

Когда он проснулся, было уже темно, но сквозь дверную щель из соседнего покоя проникали тонкие полоски света. Оттуда же доносились сдержанные голоса. Там очевидно были люди, и, прежде чем подать знак о своем пробуждении, Агадар-Ковранский решил узнать, кто это такие. Это предписывал ему инстинкт самосохранения. Дорога была большая, проезжая, вела на Москву. Всякого люду было по временам много, — могли быть и ратные люди, и люди от воеводы, а и тех, и

других князю Василию приходилось не на шутку опасаться.

Руководясь этими соображениями, князь Василий встал, стараясь не делать шума, подошел к двери и через ее расщелину заглянул в соседнюю горницу.

Заглянув, он вдруг отшатнулся, словно в испуге и зашептал:

— Уж не наваждение ли? Зачем его сюда понесло? Не обознался ли я?..

Он снова примкнул к дверной расщелине и после небольшого промежутка, отходя от нее, прошептал:

— Да, это — он... Тараруй проклятый. Милославских прихвостень...

IX ТАИНСТВЕННАЯ БЕСЕДА

В покое, куда заглянул князь Василий, были два старика и один молодой еще человек с бледным, испытанным лицом.

Один из стариков был одет, не то, чтобы бедно, но просто, зато на другом было богатое дорожное одеяние.

Этот старик был дороден собою и весьма важен с вида. Его лицо было могуче-красиво (даже

седина красила его) но страсти и беспутная жизнь наложили на него свой заметный отпечаток.

Молодой человек был очень похож на старика, так что без ошибки можно было бы сказать, что это — отец и сын...

Так оно и было.

Старик был знаменитый воевода царя Алексея Михайловича, победитель шведского полководца Магнуса де ла Гарди под Гдовом, сперва могилевский, потом псковский и затем новгородский воевода, князь Иван Андреевич Хованский, стрелецкий воевода, заставивший царевну Софью и Милославских под угрозой бунта провозгласить братьев-царевичей, Ивана и Петра Алексеевичей, царями. Буйные московские стрельцы чувствовали на себе его железную руку, но обожали его благодаря его щедрости, а главное — потворству их всяческим бесчинствам.

За своего «стрелецкого батьку-Тараруя» — таково было прозвище Хованского — они всегда готовы были идти в огонь и воду, и такая преданность бесшабашных стрелецких голов делала князя Ивана Андреевича могущественнейшим человеком в Москве. Милославские пресмыкались пред ним, царевна-правительница всегда ощущала невольный трепет, когда видела близко от себя Тараруя.

Молодой человек был сын стрелецкого батьки, князь Андрей Иванович, променявший не совсем удачную военную карьеру на поприще юриста, — в это время он как раз ведал судный приказ.

Третьего из собеседников — старика — князь Агадар-Ковранский не знал, но, несколько прислушавшись, безошибочно угадал в нем раскольника. Да и кому же было столь близко и запросто быть около гордеца-князя? Ведь все его могущество было основано только на поддержке стрельцов да раскольников! Первые давали ему могущество в Москве, вторые — во всем московском государстве.

Беседа велась между двумя стариками и, как это мог понять князь Василий, имела весьма серьезное значение.

Князь Хованский даже как будто заискивал пред раскольником.

— Ты сам посуди, — произнес он, — шатается святоотеческая вера...

— Именно, — подтвердил раскольник, — с Тишайшего пошло! Конца краю нет всяческим новшествам. Чего уж лучше: зелье табачное дымить в открытую стали...

— Вот и я-то говорю, — подтвердил его мнение Хованский: — крепка наша Русь православная староотеческими преданиями и

всякое проклятое чужеземное новшество только умаляет их...

— Вот-вот, — зашамкал старик-раскольник беззубым ртом. — Новшества, одни только новшества. Вот много ли побывала на престоле около царя проклятая еретичка, царица-полячка, а чего она только нашему государству не нанесла? Ведь подумать страшно! Московские люди, с царского попуска, стали богоподобный вид терять — бороду обстригать и волосы на голове тоже.

— А это царское повеление, — презрительно проговорил князь Иван Андреевич, — чтобы беглые с ратного поля люди бабьи охабни перестали носить? Ведь это одно какво было! Каким устрашением действовало!.. Вот хоть, к примеру сказать, о моих стрельцах-сорванцах: как гиль заводить или смуту там, так они первые были, а как на поле ратном, так сейчас и пятки показывают. Только и страха было, что бабьи охабни в мирное время вместо человеческих кафтанов. Этого и боялись. А как отменил это царь, так и справа не стало, отмену же свою сделал по жены своей полячки настоянию.

Князь Иван Андреевич прекрасно знал, что царица Агафья Семеновна никогда полячкой не была, знал он и ее отца, Семена Грушецкого, не раз даже пировал с ним, когда был псковским

воеводу, но тем не менее считал нужным вторить своему собеседнику.

А тот так и сыпал нападками на умершую уже царицу.

— Да-да! — с жаром продолжал он. — Ведь эдакое дело еретичка мерзкая завела! Святые иконы словно иконоборница какая из храмов Божиих повыгнала. Что только ей, окаянной, на том свете будет!..

Хованский усмехнулся. Ему, прирубешному воеводе, были дики такие обвинения. Он был в достаточной степени индифферентен в религиозных вопросах и не находил распоряжении царя Федора о вынесении икон ничего особенного.

Дело в том, что в то время религия вообще недалеко ушла от идолопоклонства. Следы последнего сохранились во многих обрядах и обычаях. Так, например, был установлен и такой обычай. Каждый мало-мальски значительный прихожанин приносил в свою церковь образ, пред которым одним только и молился и ставил свечи. Другие образа словно не существовали для него, он даже относился к ним поносно, а его ревность к своему образу доходила до того, что такой прихожанин не позволял никому другому теплить пред своим образом свечи, и не раз бывали случаи, когда из-за таких собственных образов между прихожанами одной и той же церкви происходили

весьма великие ссоры, нередко завершавшиеся жестокими драками, а то и кровопролитиями. Само собой разумеется, что подобное безобразие в культурном государстве, каким была уже в то время Москва, не было терпимо, и указ царя Федора о вынесении собственных икон и недопущении впредь подобных собственных образов был встречен оставшимися в православии совершенно спокойно; вожди же раскола использовали его, как средство борьбы с новшествовыми никонианами.

— В ляхскую веру задумал государь, женясь на полячке, русский народ переводить, — сеяли раскольничьи агитаторы семена смуты. — Пождите, уж то ли будет! Вон уже везде стали сабли да польские кунтуши носить, скоро-скоро поляцкий крыж поставят и ему кланяться прикажут. А все это делает царица-полячка. Хуже, чем богопротивная Маринка Мнишек, она будет. Пойдет опять смута! — подкапывались агитаторы под ненавистную им династию. — Вон богопротивника, безумца Никона, чуть было царь-то на Москву не вызвал. Вот тогда пошло бы мучение...